

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Латник[1]

Рассказ партизанского офицера

* * *

Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин[2] очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов. Местом сбора назначено было местечко Ошмяны[3], и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок – лихая пороша на зверей и неприятелей. Впрочем, и без нее легко можно было узнать, где прошли французские отряды: взорванные ящики, брошенные повозки, павшие кони и, что всего ужаснее, замерзшие солдаты устилали дорогу. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза – сладкое усыпление; они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающею судьбою, борение судорожное, отчаянное тем более, что они обнажены были товарищами заживо, – чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным покрывалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того чтоб надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь; другие сгорели полуживые, не могли от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии: глядим – он стоит вдали, опершись о ружье; подъезжаем ближе – он мертвый. Густая медвежья шапка оттеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза; из-под огромных усов, на которых недвижимо низался иней, сверкали стиснутые зубы.

Под моей командою был прекрасный молодой человек, поручик Зарницкий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор[4], который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать гордые узлы по-александровски[5]. Малый добрый, храбрый как пуля, зато и тяжелый как свинец, из которого она вылита.

Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги: движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов – неизменное ружье, и на этой груди виделись раны.

– Бедняга, – сказал аудитор, – как не жаль эдакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и француза: ведь в любой полк во флигельманы[6] годится.

– Завидная смерть! – сказал я. – Он умер с оружием и стоя.

– Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию! – возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его. – Эти кровавые буквы – приговор его осуждения!

– Попадись только Наполеон к нам в когти, – подхватил с жаром наш коротенький аудитор. – я как раз подведу за конец, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпицрутенном, а за мятеж весьма лишить живота!

Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести.

– Сабли вон и стой! Равняйся!

Поджидая, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и стирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава богу, добрались до них!» И потом с такою непритворною набожностью крестит грудь свою, с такою теплою верою взглядывает на небо! И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!»

Синий дымок взвился с пистолета передового казака – и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несея к нам навстречу, между тем как товарищ его принялся кружиться перед опушкой и выманил несколько выстрелов.

Неприятель сказался – вперед!

В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу.

– Много ли французов, земляк? – спросил я у казака.

– Словно крупа сыплется; да с ними и пушки есть, – отвечал он.

– Тем лучше, – вскричал поручик Зарницкий, – авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!

Скоро мы были на полвыстрела от опушки, однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие?

Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу. Спешив драгун с примкнутыми штыками, я оседлал ее, раскинув по чаще в обе стороны застрельщиков. Мы скоро нагнали отступающих французов: отряд их состоял из батальона пехоты при двух орудиях. Жалко и страшно было смотреть на обезображенных усталостью, морозом и голодом гренадеров; смешно бы было видеть их костюмы, если б мы сами не были убраны чуть не так же. И у них и у нас были люди в рясах, в балахонах, в женских шапочках, у кого нога в лапте, у кого в сапоге; мой вахмистр, лихой рубака, целых два месяца щеголял в салопе какой-то купчихи, а я сам был завернут в ковер, посередине которого прорезал место для головы. В столицах смеялись карикатурам бегства французов из России, но поход и бивачная жизнь нарядили и пас в их мундиры; пестрота была невообразимая!

Французский отряд шел медленно, зато в непроницаемом порядке, и с каждым разом, как мы порывались ударить на них, обращался и, твердой ногой ставши, отстреливался.

Батальонный командир вился около своих, ободряя их словом и примером. «Allons, courage, mes enfants, – montrez les dents, camarades, serrez vos rangs, halte! Criblez-moi d'importance ces flandrins: ca tient, le coeur chaud; filez, filez, vous dis-je... feu!»[7] – и тому подобные приговорки

лились у него рекой.

Всякий раз, когда перемежался огонь, голос его слышался громок и внятен. Видя невозможность успеть в нападении по узкой тропинке, мы следовали за ними, по временам меняясь пулями и бранью, которая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий удалцов. Неприятельские орудия, подернутые морозом, скрипя и гремя цепями, прыгали через корни литовских сосен; худые кони, натужась в упор, едва тащили их по гололедице – рвались, скользили, падали; наконец мы заметили, что одно из орудий стало отставать, отставать, и французы, видя, что ни бичом, ни криком нельзя ободрить коней, отпрягли их, загвоздили затравку, изрубили спицы и бросили пушку на дороге.

Разумеется, что и мы сделали то же. Куда нам было возиться с этою дрянью; в двенадцатом году пушками хоть пруд пруди. Мимоходом сказать, большая часть кавалерии и артиллерии наполеоновской погибла не столько от недостатка в кормах, как от безделицы – от неумения ковать лошадей на шипы. Бедняги на гладких французских подковах оставались, как раки на мели, на чуть-чуть гладкой дороге, и мы нередко ремонтировались брошенными конями, излечая их гарнцом овса и парюю цепких подков.

Но лес начал редеть; неприятель выстроил колонну и сдвоил шаг, чтобы через поле скорее добраться до замка, который вдали выглядывал из-за деревеньки. Я усилил фланкеров.

Казаки и гусары мои налетали на колонну, как ласточки на ястреба, и щипали его по перу; одни за другими падали французы на следы свои, порой валился ц русский. Мне наскучили эти шутки.

Выбрав чистое место, я развернул фронт, в надежде смять натиском неприятеля и захватить пушку, – но он угадал меня, на бегу выстроил каре, маскировал орудие и стал недвижим. Люди у меня были сорвиголова, наезжены лихо, оружием владеть мастера, прокопчены порохом до костей и так приметались ежедневными стычками к нападениям, что слушались слова начальника пуще пули неприятельской; со всем тем атаковать опытную пехоту конницею – заставит хоть у кого прыгать ретивое. Впрочем, фланговые и замочные унтер-офицеры – это нравственное основание строя – были у нас в отряде народ отличной храбрости. Ходили мы в атаку не иначе как рысью, затем что нестись во весь опор за версту кончается обыкновенно тем, что строй разорвется, многие кони задохнутся, многие понесут и лишь одна горсть отважных доскакивает до неприятельского фронта и, опрокинутая, улепетывает назад быстрее натиска. Кричать «ура» не было заводу, затем что те, которые режут прежде всех и раньше поры, первые осаживают под шумок коней и оттого расстраивают купность удара. Напомнив гусарам, что и как должны они делать, я повел атаку ровно, смело. Мерзлая земля загудела под мерною рысью; уланские пики, которыми тогда вооружены были и гусары, залепетали флюгерами, и брэнчанье оружия раздалось в осеннем воздухе; все это покрывалось изредка словами: равняться, не волноваться, не заваливать плеч! В неприятельском фронте была смертная тишина, мы близились быстро; можно уж было различать бледные лица и сверкающие над стволами глаза гренадеров под наклоненными их шапками. В ста шагах я скомандовал марш-марш и с поднятою саблею кинулся на рогатку штыков; в то же мгновение за криком feu![8] грянул пушечный выстрел, картечи запрыгали около, и густой батальный огонь покатился вдоль фасов, – он развеял наш фронт как пух. Кони смешались, на раненых спотыкались здоровые, мы принуждены были обратиться назад. Картечь и штыки – нестерпимые вещи для лошадиной природы. Три раза еще порывались мы пробить каре, и три раза были отбиты. Я грыз зубы. Поручик бесновался... но делать было нечего. Пришлось, сберегая людей, ограничиться перестрелкою, ожидая удобнейшего местоположения или времени. Завязать дело было необходимою, чтобы развлечь внимание неприятельского корпуса. Пускай себе думают, что мы, обманувшись, преследуем Наполеона проселками, между тем как наши летучие отряды катились у него на шпорах.

Так догнали мы храбрых своих врагов до небольшой деревеньки при замке Треполь. Между тем люди и кони мои изнурились давним налетом как нельзя более, – надобно было освежить тех и других, а в поле ни стога сена, в саквах[9] ни крошки сухарей; волей и неволей приходилось добыть себе хлеб насущный и ночлег в деревне, прогнав из нее неприятеля. На русского солдата всего сильнее действует такая логика, и когда я объявил им в чем дело, они с жаром кинулись выбивать французов из засады. Впереди шли драгуны в штыки, гусары с карабинами подкрепляли их, казаки зажигали дома с боков, – это подействовало: мы потеснили их до самого замка, ворвались во двор, и, наконец, они заняли только самый корпус дома панского и в нем отстреливались тем отчаяннее, тем безопаснее, что взвезли на подъезд свое орудие и очищали им весь двор, сквозь огромные двери сеней. С других сторон окна были высоко от земли, и потому самую выгодную точку нападения оставалось орудие, во-первых потому, что к нему и мимо его в дом можно было взбежать по подъезду, а в окна под ружейным огнем – плохая дорога; во-вторых, проникнув в середину, мы бы разрезали осажденных на две половины и, следственно, могли гораздо легче с ними управиться. Чего долго думать.

– Ребята, вперед, ура, в штыки, в дротики! За мной! – закричал мой поручик и бросился на пушку с охотниками; выстрел сверкнул – и наших обдало как варом. Зарницкий упал со стоном, и солдаты отступили в беспорядке. Я был впереди, кричал, сердился, приказывал, грозил – все даром: люди мои будто ничего не слышали, перестреливаясь издали, медленно, – я кипел негодованием и досадой.

Вдруг, видим мы, несется к нам на рыжем копе всадник, в черных латах, в блестящей каске, из-под заброшенной за спину шинели сверкал штаб-офицерский эполет. Прискакав под выстрел, он спрыгнул с коня и обнажил палаш свой.

– Вперед, вперед! – крикнул он. – Сомкни ряды. Господин ротмистр, вы должны непременно взять этот замок! Ребята! вы русские, – вам стыдно отступать, за мной, товарищи; я ваш начальник; смерть тому, кто отстанет, – на руку, ура!

С этим словом он кинулся к стене, не оглядываясь назад, как будто уверенный, что магический пример его увлечет всех за собою. И в самом деле, нежданное появление этого латника, его колоссальные формы, его бесстрашная осанка, его повелительный голос показались солдатам чем-то сверхъестественным; они ожили, посильнели.

– Ура! – раздалось в ответ на призыв латника, на усиленный огонь французов, и все мы кинулись к подъезду, вынося друг друга на плечах; выстрел, картечь через головы, пошла резня рукопашная. Мы ворвались в комнаты, и дело решилось. Кирасир рубил без пощады; каждый взмах его падал смертью, – он рассек голову французскому батальонному командиру, едва тот успел завалить затравку, и несчастный упал в крови через лафет; солдаты мои остервенились потерей многих товарищей и с ожесточением кололи всех французов и вооруженных шляхтичей, упорно против нас защищавшихся.

Картина была ужасная!

Пороховой дым густыми облаками ходил по залам; кровь, смешанная с рассыпанным порохом, залила паркет, на котором лежали, между множеством трупов, украшения потолка, обрушенные от выстрелов. Разъяренные победители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои; наконец, вызванные из замка для фуражировки, добычи, гораздо для них нужнейшей самого золота, они рассыпались по деревне, и в замке все утихло. Вообразить себе, что солдаты в военное время так смиренны, как это пишется, – надо быть или очень легковерну, или вовсе слепу: общая опасность уравнивает больше или менее все чины, а необходимость заставляет глядеть сквозь пальцы на некоторые своевольства. Так идет в строю; в летучем же партизанском отряде, которого главная цель есть вредить неприятелю всякими средствами, вести, так сказать, разбойничью войну, – еще более случаев пограбить

за глазами начальников. Следуя правилу своему – расхищать, что могут найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни синего пороха, ни соломинки на кровлю, ни прутика для огня, – мои молодцы с особенною ловкостью пустились шарить и шныхарить. Взяв все предосторожности от внезапностей, я велел караульным разложить в одной из комнат, менее других пострадавшей, огонь в камине и перенес туда оконтуженного поручика. Он кряхтел и бранился, между тем как фельдшер натирал ему больной бок спиртом. Я, усталый, лежал перед огоньком на гусарских плащах. В окно светило зарево пожара, и от времени до времени слышались в селении пистолетные выстрелы.

– Проклятая пушка! – приговаривал, охая, Зарницкий при каждом разе, когда фельдшер касался до контуженного места. – Она, словно клад, не давалась мне в руки. Под Красным французская сабля мне хотя прорезала на груди петлицу, да по крайней мере я вдел в нее «Владимира» с бантом, а эта упрямица отбоярилась от меня одним чугунным поцелуем. Ох, проклятая пушка!

– Утешься, Зарницкий, она не ушла от нас! – сказал я.

– Да не пойдет и с нами. Дорога еще не окрепла, кони истощены, и колеса будут резать за ступицы. Она свяжет пас по рукам и по ногам; при летучем отряде не впору ползти этому медному тюленю.

– О перевозке не заботься: я уж велел положить ее на розвальни, и тебя жалую начальником всей нашей зимней артиллерии.

– Эта зимняя артиллерия нагрела мне бок похуже Петровок; да скажи, пожалуй, куда девался этот кирасирский великан, который выхватил у меня пушку из-под носу? Когда я очнулся, то в облаках серного дыма он, в белом мундире и в латах своих, показался мне за привидение. Нечего сказать, удалец, – он крошил палашом своим, как будто в кулаке у него сидел целый легион чертей, и метался в схватке, будто на нем надета была заговоренная кожа Ахиллеса [10]. Не убит ли, не ранен ли он?

– Не знаю. Видел его я до самого конца дела, в запальчивости он истреблял встречного и поперечного; не было пощады даже тем, которые просили пардону. Кровь струей бежала с его клинка, с особенною, какою-то дикою радостью рубил он вооруженных врагов, и всякий раз, когда человек падал трупом к ногам его, он, взглядываясь в лицо, восклицал: «Это не он! все еще не он!» и спешил далее. Мне сказывали – увязавшись за кем-то в погоню, он исчез в потемках... Может статься, где-нибудь и застрелили его... Я велел всюду его искать, но до сих пор еще не нашли латника.

– Нашли, нашли! – кричал, вбегая, запыхавшись, наш кубический аудитор.

– Ура! наша взяла! Мир России, слава и честь аудитору двенадцатого класса Кравченке; поздравьте меня, обнимите меня, расцелуйте меня в лепестки. Уф!.. я не могу более...

При этом он упал в кресла и, пытаясь, с гордым видом поглядывал на нас свысока. Мы с улыбкою взглянули, желая найти на лице другого разгадку этим междометиям.

– Теперь мое имя будет сиять не в одних скрепах шнуровых книг – оно загремит в реляциях, в газетах, в историях!.. – продолжал Кравченко, собравшись с духом. – Да, да, в историях!

– По крайней мере в какой-нибудь комедии, – сказал поручик, следя глазами аудитора, который в припадке самодовольствия вертелся и прыгал по комнате, словно кубарь.

– Чинов, крестов, пансионеров – бери не хочу! Да то ли еще? На меня сбегутся смотреть стар и мал, когда я приеду в Петербург, как на моржа, который в кадке играет на гитаре. Меня наперехват будут звать вельможи на обеды, а про места и говорить нечего – хоть в министры

юстиции; впрочем, господа, я и в счастье не позабуду вас... Вы, пожалуйста, обращайтесь ко мне по-дружески, если припадет нужда, – для кого же и не послужить в случае, когда не для старых приятелей? Кстати, господа, вы будете моими друзьями, когда я женюсь на дочери Платова!..[11]

Мы долго смотрели серьезно на его проказы, как он, подымаясь на цыпочки, воображал, что задевает носом за облака; мы долго слушали его нелепости, но при последнем восклицании хоть и уверились, что он рехнулся, но никак не могли удержаться от смеха, – так забавен был наш маленький человечек. В свою очередь и он с удивлением глядел на нас из широких кресел, как сытый кот из слухового окна; он не постигал, чему хохочем мы, схватясь за бока.

– Не проглотил ли ты, любезный Лука Андроныч, чертенка вместо мухи? – спросил поручик.

– Не опоили ли тебя французы дурманом? – сказал я.

– Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего, – подхватил Зарницкий.

– Не худо бы вам успокоиться, – примолвил я. – От бессонницы долго ли приключиться белой горячке?

– Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь... – отвечал с досадою Кравченко.
– Экая невидаль – дочь Платова! Да чем бы я не зять атаману? Ведь он сам объявил всем и каждому циркулярно, что кто захватит Наполеона, за того он отдаст дочь свою, будь он простой казак, не только аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу![12] Разве не слышали вы этой новости?[13]

– А вы небось ей поверили? Знайте же, господин аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу и проч., и проч., и проч., что у Платова нет дочери-невесты, что он никогда не думал и не гадал объявлять подобного предложения. Но если б даже, по щучьему веленью, а по вашему хотенью, у него и была бы дочь, если б даже нелепая потеря эта была в самом деле вещь сбыточная, – я все-таки не вижу, почему бы наш Лука Андронович мог иметь право на ее руку?

– Не только на ее руку, ротмистр, на ее обе руки, на нее всю с головы до ног, с душою и сердцем и с богатым приданым барыша. Да неужели я до сих пор не объявил вам о славном моем подвиге, о счастливой находке своей?

Там, в темном подвале, в самой труппе, между хламом и ломаною мебелью, знаете ли, какой клад открыл я?

– Верно, бочонок с водкою или свиной окорок, – хладнокровно отвечал поручик. – Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове нашей полевой юстиции!

– О, зависть, зависть! – вскричал Кравченко, поднимая свои телячьи глаза к потолку. – Едва успел я отличиться, меня заранее хотят унижить насмешками, отбить славу клеветою. Пусть! Разве не все великие люди имели такую же участь, – да хотя бы и не все?.. Я тем не менее свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен Наполеона!

– Наполеона? – вскричал поручик, вскакивая со стула неволью. – Наполеона, который уже два раза ускользнул у нас между пальцев, вы, сударь, ты, Кравченко, взял Наполеона?

– Я, сударь, я сам взял Наполеона с мясом и с костями, говорю я вам!.. Неужто я не знаю его

проклятого носа, его зеленых глаз, его синего мундира и шляпы корабликом? Разве не двадцать раз видел я его – во сне и на карикатуре! Да вот он и сам – лукавый легок на помине.

Мы оба очень мало верили пронизательности аудитора, еще меньше – возможности захватить на этой дороге Бонапарта; но достичь его было самую меткою мечтою, самым пылким желанием, так сказать осью помешательства, – и в этот раз, по обыкновенной всей людям слабости к вестям самым несбыточным, впали в раздумье. «Чем черт не шутит! – ворчал поручик. – Легко статься может, что Наполеон нарочно кинулся проселками, обманывая погоню! Может, истребленный батальон был его конвоем!.. Из чего бы иначе им так упорно было драться!» В таких мыслях бросились мы к дверям, в которые входила толпа наших наездников с пленным посереде.

– Вот он, вот он! – шумели гусары. Они уж вспрыгнули победу некупленной водкою, и были, что называется, навеселе, и еще более расхорохорились от уверений аудитора.

– Я первый увидел его, ваше благородие! – сказал, выступи вперед, рослый драгун.

– Я первый нашел его! – восклицал другой, пристукивая каблуком, чтоб его не забыли, так мочно, что с потолка падала известь.

– Я первый схватил его!.. – уверял казак.

– Я вытащил, я держал за руку, за ногу, за шею!.. – кричали другие.

– Без нас он бы дал стрелка! – вопияли третьи. Я велел всем молчать.

– Подведите-ка пленника ближе к огню.

– Бросьте в огонь – только дайте мне расписку, что получили от меня Наполеона в целости, – ворчал аудитор сквозь зубы.

Пленник приблизился, и мы с жадностию, почти с трепетанием страха и надежды устремили на него глаза: перед нами стоял тамбурмажор[14] какого-то егерского французского полка, с преглупою и вместе с прежалкою рожею; общипанный мундир с полинявшими галунами, треугольная шляпенка на голове и на ногах вместо сапогов русские рукавицы – вот в каком виде представился нам двойник всемирного завоевателя. Надобно к этому прибавить, что, избегнув побоища, он был бледен как смерть, исключая носа, из которого и сам страх не мог выжать винного румянца. Он трепетал всем телом, потому что солдаты в жару патриотизма провожали барабанного императора, кажется, не одними угрозами.

Мы покатались со смеху. Аудитор между тем, выставя одну ногу вперед и водя чуть не по лицу пленника указательным пальцем, начал разбирать его по частям.

– Видите ли вы этот желтый, пергаменный лоб, на котором написаны его сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который за тысячу верст чует добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит человека, эти коротенькие руки с длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, проглотив целиком Европу?.. Видите ли, что у него на лице написано число 666[15], он же есть антихрист, сиречь Аполион, то есть Наполеон Бонапарт?

– Прокатись-ка верхом, любезный Лука Андронович, на этом пленнике, ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса!

– Не под седло, а под нозе русских надо низвергнуть этого супостата. Зачем ты навалился на Русь с двадцатью языками? Говори, отвечай! Не заминайся! – вскричал аудитор. – Признайся... кто у тебя были на Руси сообщники?

Бедняга тамбурмажор стоял ни жив ни мертв и дрожал словно осиновый лист, видя, как петушится около него аудитор, которого, без сомнения, он считал по крайней мере главным начальником отряда. «Mon capitaine, mon colonel, mon general» [16], – твердил он ему при каждом слове, прося пощады; но тот не хотел принимать от корсиканского выходца ни даже маршальского достоинства. Наконец нам стало жаль этого копеечного Наполеона, и я, попрося нашего героя успокоиться, сказал ему, что он очень ошибся в своем призе – что это ни больше, ни менее, как французский тамбурмажор, то есть почти барабанный староста.

– Хитрости, притворство, лицемерие! – воскликнул наш аудитор. – Вот еще новости – тамбурмажор! По барабану этого старосты плясала вся Европа, так пускай теперь спляшет по нашей дудке. Как ты ни зовись, мусье Наполеон, чем ты ни прикидывайся, а не миновать тебе железной клетки, как Пугачеву: будешь в птичьем ряду в Москве на потеху ребятишкам! Вы, господин ротмистр, как я усматриваю, хотите изменить отечеству и отпустить этого антихриста, – так знайте, что если это сбудется, я донесу обо всем высшему начальству... Будьте уверены, я возьму свое... Ни пенсия, ни приданое не ускользнут от моих рук!

Я вовсе не был расположен сердиться и потому очень скромно, однако ж твердо сказал ему, чтобы он не вмешивался в мои распоряжения; что если мне дана власть, то, само собой разумеется, возложена за нее и ответственность, только не перед ним; что по окончании наезда он может доносить что угодно и кому угодно, но когда будет писать об этом приключении, то не худо бы прибавить туда статью: что он, г-н аудитор двенадцатого класса, представленный к ордену св. Анны 3-й степени, был не в полном разуме.

– Эта статья будет излишняя, – заметил поручик, пуская ему под нос клубы дыму, – и без нее никто в этом не усомнится. Впрочем, я не знаю, любезный ротмистр, почему бы не послать в главную квартиру Луку Андроновича курьером вместе с этим Наполеоном, они развеселили бы всю армию на целую неделю.

Аудитор принял это за чистые деньги и вытянулся, как фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я в таком же тоне возразил, что, по недостатку в нашем отряде хлеба и водки, для нас самих необходимо подобное ободрение. Я велел, между прочим, стеречь этого пленника да осмотреть его.

– И всеконечно осмотреть! – вскричал аудитор. – Говорят, супостат завсегда носит в перстне яд. Умри он – так и поминай как звали дочь Платова, невесту мою.

– Разумеется, осмотреть, – примолвил насмешливо поручик, – того и гляди, что у него нос заряжен картечью: сохрани боже чихнет, так и жениху не уйти.

– Мы уж и то обшарили его до самой кожи, ваше благородие, – отвечал один из гусаров, – да ничего не нашли в карманах, кроме двух накрахмаленных воротников и фабричной щеточки!

Рассерженный аудитор уселся в углу, что-то ворча про себя. Пленника увели очень довольного, что избежал побоища по счастливой ошибке. Мы с поручиком уселись у огня. Не прошло пяти минут, к нам опять тащат другого пленника: казаки, которые чуют золото лучше всякого горного офицера, то пробуя шомполом стены и пол на звук, то наливая воду на землю, чтобы угадать по тому, скоро или медленно она всасывает ее, не взрыта ли она недавно, то перерывая даже золу в печках, – казаки, говорю, вытащили с чердака эконома замка, предоброго старика. Ободрив его ласковыми словами, мы от нечего делать принялись его расспрашивать, чей это замок, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот вам вкратке, что рассказывал дворецкий.

– Поместье Треполь – родовое князей Глинских. Последний из них, Наримунт Глинский, мой добрый старый господин, – помяни бог душу его, – имел дочь Фелицию, панну, такую красавицу, что загляденье. Женихов около нее вилось словно пчел около майского розана, только она от них отшучивалась, – видно, мила ей казалась воля девическая. В околотке,

года за три до этого, расположена была русская артиллерийская рота... Ею командовал капитан... дай бог памяти, имя такое мудреное, что нейдет ни в ум, ни из памяти. Собою был он человек рослый, видный – молодец лицом и поступью, а уж сердцем да обычаем так что твоя красная девушка! Он стоял в замке... с панной Фелицией бывал с утра до позднего вечера... Молодежь-то крепко полюбились друг другу, да и сам князь был не прочь сыграть свадьбу, благословить дочь за капитана: он страх любил русских, все, бывало, говаривал, что он сам русской крови. Вот уж дело пошло и на ладах. Капитан был повешен женихом панны Фелиции; он и она были чуть не в небе от радости; да и вся дворня и хлопы, не то что соседи, не нарадовались, что у них будут такие добрые господа. На беду ли, на грех, перед самым шлюбом (свадьбою) пишет мать капитану, что она больна и хотела бы благословить его своей рукою, на советную жизнь и на всякое счастье... Капитан свернулся мигом в дорогу... Слез-то, слез было на расстаньях, что не приведи господи, индо вчуже сердце разрывалось. Панна Фелиция упала в обморок, когда он сел на коня, ветер замел следы его на песке, – бог не судил жениху воротиться. Здесь жил тоже дальний родственник старому князю, грабе[17] Остроленский. Лицом, нечего сказать, красавец, зато душою вьюн; он опутал старика сетью шелковою, да и к жениху подпал он таким другом, что ни тот, ни другой не пили, не ели без него. Промежду тем он исподтишка больно зарился на панну Фелицию и спрятал в сердце досаду, когда капитан оторвал у него от губ подвенечную чару. Чуть уехал капитан, грабе стал рассыпаться мелким бесом пуще прежнего: улещает старика, плачет, словно от луку, с невестою. Уж не ведаю, как это стало, только мы стали получать от капитана письма день ото дня реже, и с часу на час холодел к нему старый князь Наримунт. Вестимо, панове, дело заглазное; оправдать его было некому, а наговаривать на далекого нашлись добрые люди. Грабе, как жаба, лежал у старика на ухе. Вот и совсем перепала весть о женихе; месяца с четыре ни слуху, ни духу, ни загадочки. Панна Фелиция не осушала очей на солнышке; сидит, бывало, в своей комнате под окном, глядит на дороженьку да горюет, бедняга. Привозит однажды ездовой из города почту. Господа в то время сидели за столом тихо, печально, словно на похоронах. Только пан грабе шутил и смеялся, чтобы развеселить гостей. Подал ездовой князю связку писем, наверху одно с черною печатью. Открыл князь, прочел его и молча передал дочери... Не успела та заглянуть в него – вдруг побледнела, как платок: то была страшная весточка для невесты – жених ее умер.

Время текло у нас тише воды; в гостиных было как на кладбище. Не прошло полугода, слышим; объявляют, что пан грабе Остроленский женится на нашей ксенжничке (княжне)! У девушек коротка память, панна Фелиция, однако ж, не забыла прежнего милого; ее принудили выбрать другого. Отец твердил то и дело: «Я не проживу долго, дай себя увидеть не сиротой, выйди да выйди замуж за грабия»; надо было потешить отца на старости лет. У нас отпраздновали свадьбу. Нечего и говорить, что всего было вдоволь, всего, кроме радости, про любовь ни помину. Не прошло месяца, все оборотилось у нас вверх дном. Пану грабе нужно было не сердце, а приданое Фелиции. Старик отдал ему полную волю в доме и в именье, да и стал у себя первым невольником. Никому не стало житья от нового господина. Он сбил со двора даже старых собак, не то что покоевцев и ловчих. А уж глядеть на нашу милую пани Фелицию – так сердце кровью заливается: чего-то, чего она не перенесла от злости мужа! Попреками да укорами отравлял он ей каждую ложку за обедом и, наконец, до того мучил ее, что заставил принимать к себе свою отъявленную любовницу – настоящую змею подколодную, которая, бывало, спит и видит, как бы огорчить нашу голубку своею наглостью. Бедная графиня сохла, как былинка на камне, таяла, как свеча воску ярого, плакала перед одним паном богом и молчала перед добрыми людьми. Правду сказать, добрые люди скоро покинули замок наш, ворота заросли травой, и двери в столовой прижавели к петлям, – бог снял свое благословение с маионка княжего после смерти старика Наримунта. То дождь вытопит луга, то град побьет хлеба, то зверь попортит стадо; а карты, эта бесовская грамота, рассыпали по чужим карманам дедовское серебро и золото. Напировавшись со своими панибратами досыта, граф стал уезжать бог весть куда. Настала осень, желтый лист засыпал дорожки сада, однако барыня, не глядя на ветер, бродила по нем будто на прощанье с божьим светом. В один день в сумерки (тут дворецкий оглянулся во

все стороны, и, уверясь, что его никто не подслушивает, перекрестился, и, понизив голос, продолжал) – это рассказывал мне покоевец, который завсегда издали ходил за нею... в один день в сумерки она возвращалась тихими тагами в замок, печальна, бледна, потупив голову... как вдруг перед ней стал всадник на вороной, как воронье крыло, лошади... Покоевец присягал на свою душу, что все двери сада были заперты накрепко и что он не слышал ни топоту, ни ржания конского, – он явился как тень, прыгнул долой и схватил графиню за руку. Между тем как перепуганный покоевец стоял как вкопанный, всадник что-то тихо и долго говорил с нею... что-то похожее на поцелуй раздалось впотьмах, и вдруг графиня застонала пронзительно... Когда слуга подбежал к ней, черного всадника уж не было! Наутро не нашли даже конских следов по дорожкам сада. Спрашивать о том графиню никто не смел; сама она молчала. Когда ей после этого испуга предложили лекарства, она отвечала, что все напрасно... что она знает наверное час своей смерти и что, едва прорежется рог у нового месяца, ее не станет. С той поры в каждую пятницу сживала она по вечерам в этой самой комнате, одна-одинехонька с своею собачкою, до поздней ночи, без свечек... и словно с кем разговаривает. Здоровье ее стало на закате, час от часу плоше: похудела, хоть насквозь гляди... И вот на ущербе месяца ей стало очень трудно, а все еще на ногах бродила. В четвертую пятницу она опять пришла сюда сидеть у этого окошка и глядеть на поле, покрытое снегом. Било уж одиннадцать ночи... Вдруг все ее ближние слышали: кто-то всходит тяжелой стопой на лестницу. Что за диво! Наружные двери я сам запер крепко-накрепко. Слушаем: чудится, будто графиня с кем-то разговаривает... Тише, тише, тише, все утихло. Со страхом вбежали в комнату ее панны, глядь – графиня лежит на софе в обмороке... Назавтра поутру приехал грабе из Вильны, и в следующую ночь, – когда блеснул ноготок молодого месяца, – она скончалась. Радость, которую наш пан не хотел и скрывать, мучительная кончина графини так скоро после его приезда и синие пятна, проступившие на лице покойницы, – все это, панове, свело на него подозренье, будто графиня умерла от яду. И то сказать: кого не любят за дело, на того сплетают и небылицы... Бог судья, правда ли это; осудитель бог, если это правда! Только граф, едва переждавши три месяца после похорон, женился на прежней своей любовнице. Сказывали, что на кладбище у кляштора[18], где положена графиня Фелиция, три раза после того являлся черный всадник неведомо откуда, скрывался неведомо куда. Так прошло два года. Грабе наш, схоронив с первой женой совесть последнюю, разорил крестьян, измучил всех нас и, наконец, отослал в землю и вторую жену. После этого, слава папу богу, он уехал служить во Францию, и с тех пор мы не видали его до вчерашнего дня; он воротился беглецом из Москвы, как раз возмутил всю околицу, скликал шляхту, вооружил неволею слуг и хлопов своих, чтобы драться против русских, до смерти: ему, вестимо, не жить в родине – имения и доброго имени не выкупить из черного долга. Вы видели, что он рубился напропалую. Однако ж у него в саду заготовлена была лошадь для побегу, и наши сказывали, что пан ускакал, когда увидел беду неминуемую. Дай пан бог, чтобы он никогда к нам не ворочался!

Старик кончил. Я успокоил и выслал его.

Аудитор спал в углу, сидя, мертвым сном; поручик сидел в глубокой думе перед камином. Простой рассказ дворецкого нас тронул обоих.

– Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романическом веке! – сказал я. – Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский, самородный, без примеси. Притом, покуда существуют страсти и слабости, развиваемые обстоятельствами или связанные узами приличия, человек всегда будет любопытен, занимателен для человека; каждый век только обновляет новыми образами сердце. Я уверен, что, перебравши тайные предания каждого семейства, в каждом можно найти множество разнообразных происшествий и случаев необыкновенных. Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более таится их в самом блестящем обществе! Я знал многих, которые подписывали чуть не смертные приговоры с

гордым лицом, на котором бы должно лежать заслуженное клеймо отвержения; я знал людей, которые громко вопияли против порока и не заглушили тем голоса сознания в собственных злодеяниях!! Но, оставя умышленное, сколько еще остается случаев от неведения, от неопытности, от заблуждения!

Зарницкий молчал.

Он был из числа тех людей, которых мы привыкли называть мечтателями: от самой шумной веселости, от самого насмешливого разговора отпадал он вдруг в глубокую думу, в грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижные очи, что пред вами один труп его, а душа улетела. В другое время, напротив, вы бы могли видеть на лице его всю игру мыслей, как работу пчел в стеклянном улье. В этот раз он будто пробежал даль: то словно сам чего-то бежал с робостью, то улыбался младенчески.

– Друг! – сказал я, тихонько ударив его по плечу, – верно, душа твоя была теперь в домовом отпуску?

– Правда, – отвечал он, очнувшись, – тишина и сумерки стелют моему воображению мост на родину. Рассказ этого старика освежил во мне многие картины из моего младенчества, из моей юности. Но всего более эта унылая песня сырых дров, это завыванье трубы, словно призыв какого-то великанского рога, напомнили мне старину, когда, лежа в постели, я любил слушать ветер, стонущий сквозь трубу печки. Чугунная вьюшка звучала, как далекий погребальный колокол, и зимняя вьюга, сыпля иглами инея в стекла, рассыпалась едва слышную гармонию. Какой-то новый мир, вовсе незнакомый, осязательный, но безвидный, обнимал меня; какие-то чудные существа теснились к душе... Мне казалось, я слышу лепет их крыльев, шум стоп, жар дыхания, невнятный их говор. Еще более... порою предо мной вились, сверкали, огнились символические их письмена, которые вместе были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопределенную форму. Не умею выразить, что бывало со мной в этой дремоте: я трепетал, как струна, издающая божественный голос; томный и вместе сладостный ужас пробежал по моим жилам; я хотел постичь его и болезненно сознавался, что природа не дала самой душе органов для вкушения этого безыменного чувства; на меня находила тогда тоска; я ходил на человека, который страстно любит музыку и страдает случайною глухотою. Бывало, завернувшись в одеяло с головою, из подобного состояния я переливался в чуткий сон; и в нем еще явственнее, еще живее мои видения кружились около; по тогда я уже сам становился действующим лицом: говорил, как Демосфен[19], читал неведомые, прелестнейшие поэмы, но от них при пробуждении оставались во мне только ощущение восторга, только слеза умиления. То ли еще: я летал птицею в безднах, я плавал как рыба, я как воздух проникал в глубь земли. Мне виделось, что я мог глядеться в душу свою, и чужие речи и мои мысли вставали, проходили передо мной, воочию совершались, как говорят русские сказки. Особые места действия, особый круг знакомства, особенное родство имел я в сонном мире своем; но каков был он, но кто эти знакомцы и родные, память моя не могла схватить, пробудившись совершенно. Зато всякий раз, склоняя голову на подушку, я обнимал ее, как друга-чародея, который унесет меня к милым.

Отрадно плыть во сне туманной Летой, Забыв часов бряцающую медь, В видениях пожить вне жизни этой и без кончины умереть!!

Моралисты сулят покой несчастным за дверью гроба; зачем ходить так далеко? Сон есть лучший уравниватель в жизни. Когда вздумаешь, что царь и последний поденщик, богач и бедняк, одинаково проводят треть суток, первые не пользуясь своими преимуществами, последние забывая свое горе, – то какое-то утешительное чувство проникает в душу. Я еще допустил, что счастливцев и несчастных проводят одинаково пору сна, – но обоим ли им стелет постель усталость и чистая совесть? Не сидит ли часто раскаяние у золотошвейного изголовья, не дарит ли воображение царскими снами бедняка?

Ты спросишь, откуда пробился ключ этих наслаждений моих, это перемещение сонных призраков в явную жизнь и действительных вещей в сонные мечтания? Мне кажется, этому виною было раннее верование в привидения, в духов, в домовых, во всех граждан могильной республики, во всех снежных сынков воображения мамушек, нянюшек, охотников-суеверов, столько же и раннее сомнение во всем этом. Нянька рассказывала мне страхи с таким простосердечием, с таким внутренним убеждением, родители и учителя, в свою очередь, говорили про них с таким презрением и самоуверенностью, что я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими доказательствами истины. Куда был перевес: на сторону ли впечатления или на сторону убеждения – угадать нетрудно. Правду сказать, человек всегда предпочитает то, чего он не может постичь, тому, чего постичь нет ему охоты. Эта борьба, однако же, не истребив совершенно моей склонности к чудесному, отняла у него нелепую одежду, в которую облекло его народное суеверие. Разумеется, чем более мужал мой рассудок, тем приметнее влияние чудесного на меня уменьшалось: образы его бледнели, блекли, исчезали, сливались с пространством, как утренние туманы. Но веришь ли? – до сих пор бывают минуты, в которые готов я почти увлечься поверьями моего детства. И как я люблю переживать вновь годы этого детства! Весна моя расцветает в памяти чудными цветами, причудливыми цветами – со всем их благовонием, со всею свежестию красок; я наслаждаюсь тогда даже минувшими ужасами, и замечу странность: это осуществление минувшего случается со мной наиболее после сильных движений души или тела, после сильных потрясений. Кажется, что ослабнувшие струны организма способнее принимать лад нежных лет наших и от малейшего повева поминки звучат знакомую, любимую песню.

Однако ж рассказ старика дворецкого разбудил в душе моей не одни полуясные, неопределенные воспоминания. Нет! он оживил происшествие, очень подобное им рассказанному, происшествие, близкое моему сердцу. Не сказка и не выдумка, слепленная на потеху приятелей, будет повесть моя, в ней от слова до слова – все истина.

Дед мой с матерней стороны был князь Х-ий; я будто впросонках вижу его темную, суровую физиогномию, его высокий рост... его жесткий голос. Не знаю, отчего, только я боялся его ребенком как нельзя более. Как ты хочешь, а мне кажется, природа одарила всех тех инстинктом, в которых не развила разума, и дитя, находясь в этой категории, почти всегда безошибочно угадывает в каждом встречном друга или недоброхота. Князь был, можно сказать, неистового нрава – горд своим родом и богатством в обществе, невообразимый деспот в семействе. Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей – куклами для забавы; сохрани бог, чтоб они осмелились думать, не только поступать, иначе, как по его воле, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь. Он успел подавить в первых всякое благородное чувство, всякую вспышку разума, и они зачерствели в своем невольном ничтожестве, в своем вечном ребячестве. Их отправил он на службу в столицу. Совсем другое случилось с дочерью. Угнетение, уничтожение, под которыми держали ее, пробудили в ней гордую душу, которая без того никогда бы, может быть, не проснулась. Она почувствовала и уверилась, что правда и добро могли существовать и вне речей, вне поступков отца ее. Случай способствовал этому развитию.

Лиза потеряла мать еще в ту пору, когда не могла вполне оценить этой потери, именно по тому самому великой. Отец не удостоивал заниматься ее воспитанием. Он думал, что совершил великое благодеяние, платя мадамам и наемив к ней кучу учителей – без выбору и без призору. Нежность его ограничивалась тем, что он утром и вечером допускал дочь к ручке своей да всякий месяц дарил ей на булавки.

В числе учителей Лизы приехал из Москвы недавно выпущенный из университета адъюнкт Баянов. Он был очень статный, умный, добрый юноша; дворянин небога-тый, но стоящий богатства. Лизе было тогда пятнадцать лет, и он с жаром принялся за ее образование; уроки были наслаждением для обоих. Она радовалась познаниям, он – успехам своей ученицы. Ничего нет чище, возвышеннее, святее удовольствия, какое чувствуем мы, передавая, вверяя

благородные чувства и светлые мысли другим. Тогда мы прилепляемся к ним любовью отеческою; и в самом деле: вложить в человека душу разумную, доблесть живую – не значит ли создать, родить его для добродетели, и не ценнее ли это родство родства телесного, не священнее ли самых уз крови?..

Однако ж скоро, хоть незаметно для неопытных, вмешалась в их дружество душевная любовь более нежная, более страстная, любовь сердца. Минуло четыре года... учение кончилось... и любовники тогда лишь узнали, что взаимность для них не только счастье жизни, но самая жизнь... когда судьба погрозила разлучить их. В одну и ту же минуту они испытали восторг и признания в любви, первый поцелуй восторга и первые горькие слезы печали. Они поклялись быть верными до гроба, это уж так водится искони: для молодых людей все кажется легко, для любовников – все возможно.

Они не знали, с кем имели дело.

Старику Х-му наскучило нянчиться с дочерью. Она была невеста, и, что всего важнее, невеста богатая: мать отказала ей одной все свое приданое, все движимое и недвижимое. Однако, желая сбыть с рук дочь, ему не хотелось расстаться с ее именем, и вот для чего удалял он от Лизы женихов, которые по уму или по связям своим могли бы потребовать у него и наличного и отчета за прежнее управление.

Сгадал, решил и выбрал в зятя какого-то князька – сидня, весьма ограниченного умом, ничтожного роднёю. Он дал слово, не спросив, даже не предупредив дочери. Через три дня надо было играть сговор, а она не знала о своей участи ни сном, ни духом. Наконец он объявил ей повеление выйти замуж и готовиться к свадьбе самым беспрекословным образом. Он споткнулся на этом вовсе неожиданно: характер дочери открылся вдруг в полной силе! Подкрепленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо сказать отцу, что считает союз супружеский святынею, которая требует любви сердечной к мужу... а потому она не иначе отдаст руку свою, как вместе с сердцем; сердце же ее отдано Баянову, ее воспитателю; она прибавила, что никакие убеждения не принудят ее переменить данного обета – быть его женою или вечно остаться его невестою. «Вы дали мне жизнь, батюшка, – сказала она, – но бог дал мне душу; располагайте первою, но позвольте мне сохранить для себя вторую; и кому лучше могу я посвятить ее, как не человеку, посвятившему лучшие годы своей жизни на мое образование с таким усердием, с таким горячим самоотвержением?»

Говорят, князь после этого объяснения несколько минут стоял неподвижен и безмолвен от изумления... гнев задушил в нем голос. Можно представить себе, что почувствовал человек, привычный к безусловному повиновению от всех, к нему близких, который сроду не слышал слова нет и вдруг поражен был им так внезапно, так больно! Вся его гордость, все его выгоды и понятия, все замыслы его оборочены были вверх дном, – и кем же? Девочкою, дочерью!

Взрыв был ужасен, угрозы и брань полились на несчастную: как смела она иметь свой ум, взять свою волю! Суд короток – он запер ее в темную комнату на хлеб и на воду.

Учителя Баянова велел он выбросить из замка вместе с его вещами, не позволив показаться на глаза. Бешенство его выместилось на всех домашних; и без того все трепетали его голоса, его взгляда, и после этого случая Головина слуг разбежалась от его жестокости, не знающей границ, незнакомой с пощадою. Он свирепствовал как зверь.

Время шло; но оно не переменяло ни упорства отца, ни постоянства дочери. С своей стороны, влюбленный Баянов, несмотря ни на какие угрозы, презирая опасности, обманывая надзор, старался проникнуть до темницы своей любезной – и долго, долго напрасно. Мало-помалу, однако ж, ему удалось деньгами склонить на свою сторону одного из тюремщиков. Золотой дождь по капле пробивает даже камень. Ему доставили случай видаться с Лизой, и минуты, которые провели они вместе после долгой разлуки, несмотря на

меч, висящий над головою, были самыми счастливыми в их жизни, потому что верность в такую мучительную годину испытания получает высшую цену, и каждый миг, вырванный из львиных челюстей опасности, тем сладостнее, чем короче, тем ближе к восторгу, чем ближе к гибели. Скоро почувствовала заключенница, что существо ее удвоилось. Какое святое чувство вложила в нас природа к обновлению! Какое сердце не трепетало радостью при мысли: «и я стану матерью!», при вести: «ты отец!» В такие минуты забыты все страхи, все расчеты!!

Наши любовники были счастливы назло судьбе, и это самое придало им смелости, самой надежды. Тут уже дело шло не о них самих, но об имени, о счастии третьего, драгоценного для них залога. Они приготовились к побегу. Они согласились исполнить свое намерение, когда отец уедет на три дня в отъезжее поле.

Он уехал.

Переодетый в кучерское платье, проник Баянов в тюрьму Лизы ночью. Дневальный тюремщик был подговорен бежать вместе; лихая тройка ждала их за частоколом сада; оставалось только удачно выбраться из дому. Баянов застал свою невесту на коленях перед образом. Кончив молитву, она кинулась в объятия к милому, но долго не могла промолвить слова, заливаясь слезами. Я знаю это от старика, бывшего свидетелем. Он рассказывал, что смелость ее покинула, когда надобно было ступить за порог; что она умоляла Христом-богом отложить все до завтра; говорила, сердце у нее будто стиснуто железною рукою, что она предчувствует верную, неминуемую гибель. Баянов, разумеется, утешал, ободрял, уговаривал ее; доказывал, что предчувствия не что иное, как робость, что, откладывая удобный побег, они накликут себе не только в каждом человеке, да в каждом часу неприятеля, а что всего важнее – священник ждет их в церкви.

Она уступила.

Через сад в повозки, и ударили по всем по трем.

Дело было в начале ноября. Рыхлая пороша чуть подернула павший лист дубравы. Я и забыл тебе сказать, что все это происходило в К... губернии, в усадьбе князя, называемой Шуран [20]; лежит она над Камою, при большой дороге в Оренбург; место преживописное; барский дом на холме; дедовский темный сад шумит угрюмо на берегу; вправо... да не о том дело. Глухая ночь лежала над Шураном, когда наши беглецы оставили его. Проселочная дорога к далекой, уединенной церкви пролегла дремучим лесом и местами совсем склонялась на крутой берег Камы. По Каме шел тогда лед и с печальным звуком ломался друг о друга. Две тройки мчались быстро, но едва слышно: колеса нарочно были обвиты кушаками. Припав к груди Баянова, для которого пожертвовала всем на свете, Лиза едва дышала, едва думала. Час этот был для нее как час перед казнью преступника – он еще не мертвый, но уж и не живой; может ли он наслаждаться жизнью, когда смерть впустила в него когти свои? Такая отсрочка хуже пытки, такая бесчеловечная милость жесточе казни самой. Но едва ль не еще несноснее, когда неожиданное счастье разманит нас – и вдруг готово исчезнуть! Пусть непредвиденная беда поражает как пуля, беда, перед которою идет предчувствие, терзает, как яд жестокий. В таком точно положении были оба наши любовники. Они молчали, потому что ни один не мог найти слова утешительного; земля звучала под колесами, будто свод могильный; ветки сыпали на лицо иней, и корни заплетали им дорогу.

Все кругом было в смертной тишине; только порой спугнутый филин страшно гукал в чаще, хлопая тяжелыми крыльями, или трещал изломанный сук. Они благополучно добрались до деревенской церкви, верст за пятнадцать от Шурана. В ней приветно теплился огонек... Дверь растворилась, и женихи вошли в тусклую трапезу. Иконостас подымался до самого потолка, подпертый витыми столбиками, когда-то позолоченными; старинные лики святых, едва озаренные лампадою перед царскими дверями, казалось, хмурились, помавали

головами; хоругви колебались от сквозного ветра, который, дуя в рамы, возникал и стихал печальною песнию. Почтенный старичок священник встретил жениха и невесту у дверей благословением, и дьячок, засветя еще несколько свеч в высоких подсвечниках на деревянной ножке, запел хриплым голосом. Началась служба. Прелестна, однако ж бледна как снег намогильный, стояла перед налоем невеста... Венчальная свеча дрожала в руке ее, и когда Баянов ободрял ее нежным взглядом, она отвечала: «Это от холода»; этот холод был у ней в сердце... Она робко озиралась кругом и сторонилась теней, перебегающих по церкви от зыбкого пламени свеч, как будто они хватали ее. Вопреки всех страхов, обряд кончился счастливо. Кольца скрепили священной цепью сердца, давно уже сплавленные любовью, и поцелуй запечатлел союз их. Когда перед алтарем бога милосердия и правды супруги с радостными слезами на глазах заключили друг друга в объятия, они забыли настоящее и будущее, – никакое горестное чувство не отвлекало этого восторженного мгновения.

Оно было последним в их счастье.

Конский топот и грозные клики налетали со всех сторон; священник с коленапреклонением молился о спасении, Баянов готовился к защите – все было напрасно: выбитые двери церкви упали, и толпа охотников княжих вслед за разъяренным своим господином ворвалась в середину. На беду, он охотился невдалеке и, получив известие о побеге дочери, стремглав ударился в погоню. Что медлить правдою? Супругов силою разлучили, связали, кинули в телеги порознь и понесли назад в роковой Шуран.

С этой поры туча злодейства одела этот дом тайною. Никто не знал, что делается с молодыми. Никто не мог догадаться, куда девались они. Двое псарей, которые везли Баянова, уверяли, что он вырвался на полдороге и ушел в лес, за это они жестоко были наказаны. Священника угрозами и лестью заставили молчать о браке; притом же он совершен был не по всем правилам – недоставало свидетелей, и священник притаился, чтобы не быть в ответе; общая молва была распушена между дворнею, что отец захватил венчанье в самом начале. Как бы то ни было, ни один человек не осмеливался спросить об этом обстоятельстве угрюмого князя. И Лиза и Баянов канули как в воду... Соседи шептались между собою, как раки под крапивою, и, как раки, пятились перед страшным соседом. Его ядовитый взгляд убивал любопытство и участие.

С большим удивлением увидела дворня ровно через год, что к ним на двор катит весь уголовный суд из Казани. Все слуги дрожали осиновым листом, чтоб не попасться в свидетели по проказам барина: затаскают, заморят по тюрьмам, ни дай, ни вынеси. В один миг слух о доносе разбежался по всему селению. Члены суда немедленно потребовали видеть дочь княжью, про которую отец отвечал, что держит ее взаперти по сумасшествию. Он повел их в тюрьму Лизы. Дверь замкнулась, и мертвая тишина воцарилась в целом доме... Все, не переводя дыхания и наострив уши, ждали, чем это кончится. Иные шепотом уверяли, что князя возьмут под стражу и что для этого приехала крытая повозка. Желание избавиться от злого барина и страх у него остаться волновали всех. Наконец двери распахнулись настежь, и тогда некоторые из слуг, заглянув украдкою в тюрьму барышни, увидели ее брошенную на соломе: в рубище; на ней не было вида человеческого – так она похудела и почернела. Глаза впали, волосы были всклочены, она лежала, разметав руки, в обмороке.

«Теперь мы удостоверены, что она бешеного сумасшествия», – сказал председатель палаты.

«Никакого нет сомнения, – преважно прибавил городской лекарь, – она безумна – неизлечимо».

«Держите ее крепче, – подхватил весь суд хором, – вы ей природный опекун; на днях пришлем формальную бумагу на ввод во владение!»

Роскошный завтрак скрепил определение этих неумытных судей, и юстиция отправилась в

город навеселе. Вся дворня с ужасом услышала приказ. Так вот зачем приезжал суд, так вот чем кончилась эта уговорная гроза!! Когда за судьями тронулся обоз с подарками, слуги, пожимая плечами, тихонько говорили: «Скоро по этой дороге повезут на погост и добрую княжну нашу!»

Предсказание сбылось скоро – через полгода Лиза скончалась.

Люди пожимали плечами, окружные дворяне много толковали об этом случае. Все соглашались, что князь нарочно ослабил дочь свою безумною, чтоб завладеть ее имением, что бесчеловечным обхождением с нею он в самом деле довел ее до иступления и, наконец, безвременно свел в могилу. Судьба Баянова не ускользнула от проницательных взоров. Ходили слухи, что он был привезен в Шуран и брошен в один из подвалов, где и был уморен с голоду мстительным князем. Приводили в доказательство рассказы некоторых слуг... Они клялись, что слышали стоны в подполье и узнавали в них голос учителя, что потом он начал стихать, стихать и, наконец, замер в таком страшном вопле, что от одного рассказа вставали дыбом волосы. Говорили еще, будто видели в следующую ночь, что мелькал огонь в отдушине подвала, где сидел Баянов, слышали, как там брякали лопатки, как что-то закапывали, закладывали камнем. Со всем тем ужас, наведенный князем на соседей, был так глубоко укоренен, сила его в суде и связи в столице так обширны, что ни один человек не посмел пикнуть в обвинение.

Дело запало само собою.

Вскоре после смерти дочери в князе заметили чудесную перемену. Его злое, дерзкое лицо покрылось бледностью; походка стала робка и нерешительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, среди белого дня, он останавливался на быстром ходу и, весь трепеща, отступал; иногда вскакивал с кресел, произнося невнятные слова. Этого мало: по сказкам всей дворни, стали твориться чудеса в доме. Что ни полночь, двери из бывшей тюрьмы княжны распахивались с визгом сами, и оттуда явственно раздавались мерные шаги, только никого видно не было. В ту же минуту подымался тяжелый стон из подвала так протяжно, так страшно и пронзительно, что он слышался во всех углах замка. Напрасно зарывали все головы в подушки и заворачивались в одеяла: он все слышался в ушах и звучал, как в пустом склепе могильном. В спальне у князя каждую ночь слышали чью-то походку, адский смех и потом скрежет зубов, проклятия и будто хрипение смерти. Никто не смел, однако ж, и намекнуть о том, не только спросить князя, – он хранил мертвое молчание. И вдруг в одну ночь он с воплем выбежал из спальни своей, бледный, испуганный; в одной сорочке, он сам походил тогда на мертвеца.

– Запрягайте коней! Подавайте возок! – кричал он. – Чтобы сейчас, сей же миг стар и мал бежал из этого проклятого дома, вон отсюда и навсегда... Слышите ли, говорю я вам, выбирайтесь вон мигом!

Как ни удивлены были слуги и все домашние таким неожиданным приказом, только шутить с князем было плохое дело: через час не осталось в целом доме ни человека, ни кошки. Все это кинулось, потащилось и поползло в зимнюю ночь, кто на чем попало, в другую усадьбу верст за тридцать. С тех пор дом этот стоит заколочен. Суеверие сторожит его лучше всяких караульных и собак. На закате солнца, не то чтобы в глухую ночь, ни один крестьянин не смеет мимо его вблизи проехать. Через полтора года князя нашли мертвым в постеле. Простолюдины толковали, что его заели нечистые, которым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные говорили, что правосудие божие кликнуло его на расправу. Его похороны были праздником не для одних плакальщиц.

Усадьба Шуран, вместе с деревнею, досталась на долю моей матери. Несмотря на все выгоды и устройство хозяйственное, она не хотела туда переселиться. Только раза два в лето приезжала она с нами к управителю, жившему в одном из отдаленных флигелей, для

надзора и поверки счетов на месте. Само собою разумеется, что дворня наша, и мамки, и нянюшки мои не упустили случая наказать мне с три короба страхов и преданий об этом таинственном доме. С каким, бывало, трепетом, с каким удовольствием осмеливались мы с братом приближаться по заросшему крапивою двору вечерком к заколдованным палатам! Главные двери были забиты досками; окна зацвели мертвою синевою; в разбитые стекла порхали птицы, и кровля во многих местах упала собственною тяжестью. Осторожно переступая, будто боясь попасть в силочку или в очарованный круг, подходили мы к крыльцу; на нем, по спаям камней, росла уже трава. Брат мой был и постарее и посмелее меня и порой достигал до самой двери; но когда обращался назад, то кидался вниз по ступеням опрометью. Он признавался, что замок страшно глядел на него одним глазом своим, что в дверную скважину кто-то дышал на него морозом и петли скрежетали, как зубы. Издали бросали мы иногда камень на кровлю и с биением сердца слушали, как он, стуча и прыгая, катился по ней книзу, и когда, упав на землю, скакал еще далее, мы бросались от него, воображая, что он за нами гонится. И в самом деле, эта могильная тишь на дворе, опустелый дом, опальные ряды служб, обрушенные заборы – все внушало грусть даже детскому сердцу, и ветер, стонущий в разбитых окнах, шумящий между репейником, слышался нам говором духов, вестью с того света, он будто наносил на нас сырость и прохладу гробов.

Как-то однажды мы были смелее обыкновенного и, разбив камнем стекло в окне нижнего этажа, решились посмотреть внутрь комнат. Брат поднял меня на плечи, чтобы я мог достать до рамы. Не без ужаса просунул я свою голову в разбитое стекло; я боялся бы не более положить ее в пасть медведя. Опершись о пыльный косяк, взглянул я внутрь, и сначала все мне показалось темно, как ночью. Через несколько времени я пригляделся... а между тем брат ежеминутно расспрашивал меня, что я вижу. То была обеденная зала. Длинные столы стояли по стенам с полуоборванными полами; многие стулья лежали на полу, словно опрокинувшись от страха; другие, будто от слабости, стояли, прислонясь к стене. На полу лежали обломки посуды, видно разбитой впопыхах перевоза. Полинявшие, пыльные обои, в иных местах уже опавшие, колебались от ветра; из-под них выглядывала дождевою плесенью покрытая стена; инде штукатурка обвалилась и сквозили лучинные решетки, – вы бы сказали: это тлеющий труп богача, с которого падает одежда и кожа, и местами уже обнажаются ребра, на которых паутина висела как волокна и жилы. Карнизы улеплены были гнездами ласточек; летучие мыши цеплялись по углам; живопись потолка сплылась в какие-то чудовищные арабески. Трудно себе вообразить, какое странное впечатление произвел на меня вид этой опальной комнаты; я будто сейчас гляжу на нее! Все, все в ней казалось мне чудным, сверхъестественным, страшным. Этот мрак, в ней царствующий, эта полурасстворенная в коридор дверь, за которою так таинственно сгущались тени, даже обшитая сукном веревка, на которой когда-то висела люстра, с огромным крючком своим казались мне орудием пытки. Мне казалось, на сером свете сумерек, сквозь мутные стекла, что все звери и птицы обоев шевелятся, трепещутся, что белая изразцовая печка притаилась в углу, как мертвец в саване, и вдруг в самом деле что-то живое, с блестящими глазами, с грохотом прокатилось по зале и прямо кинулось на меня, – я заревел, опрокинул брата, смял его, покотился с ним вместе через голову, и потом вскочили мы оба, и оба, крича изо всей мочи, ударились бежать врознь, забыв оборонительный и наступательный союз: не выдавать друг друга ни в каком случае. Чудовище, испугавшее нас, была кошка. Мы, однако ж, народ храбрый и, уверясь в том, не смели подойти к ней: кошка искони слывет сосудом оборотней, ведьм и тому подобной адской челяди второго разряда.

Улетели годы.

Давно уж покинул я родину. Учился в Москве, вступил в службу. Радостно спешил я домой показать матушке свои патенты, свои эполеты, при первом отпуске. Весь мой младенческий и отроческий быт ожил в душе, когда я увидел поприще, на котором он двигался. Правда, кукольный мир этот, не только просторный, но и огромный для ребенка, для меня, юноши, казался уж тесен, мал непонятно. Но он был моим, был связан не скажу с прекрасным, но с

беззаботным возрастом, когда мы чувствуем, не ощущая сердца, думаем, не утомляя души, – с этим единственным возрастом настоящего без сожаления о вчера, без ожидания завтра, без воспоминаний, едва ли не всегда разведенных желчью раскаяния, без надежд, отравляемых ядом страха. Я сказал тебе о моей склонности к чудесному. Признаюсь, что возраст не уничтожил ее; он только высучил ее в утонченную нить, а романы раскрасили ее своими цветами. Переменился вид, существо осталось то же. Вот почему таинственный Шуран манил меня к себе своими чудными преданиями, манил неодолимо. На третий же день я велел оседлать коня и поскакал туда. Это было в октябре месяце. Когда я приехал в Шуран, ночь, как прелестная арабка, в звездном покрывале гляделась уже в померкшем зеркале Камы. Я слез у крыльца уединенного домика, в котором жил управитель, только не нашел его у себя: он уехал в дальнюю деревню. Мне вовсе не весело было коротать вечер с старухой, его женою, и, поужинав налегке, я велел подать себе топор, зажег три восковые свечи вместо факела и, не сказав никому ни слова, отправился прямо к покинутому дому. Репейник заплетал мне дорогу; испуганные лягушки, которые уже столько лет невозбранно владели мокрым двором, квакая, прыгали из-под ног моих. Я подошел к обрушенному крыльцу, которого ступени были термометром детского нашего честолюбия, я увидел окно, в которое глядел, когда был испуган кошкою, – и все фантастические существа замахали около меня знакомыми крыльями, и прежнее чувство сладкого страха втеснилось в грудь, я опять стоял школьником перед старинным замком. Это было на минуту. Я оторвал топором доски дверей и вошел в обширную переднюю. Отворенные кругом стен ящики для сиденья слуг и опрокинутые вешалки доказывали еще торопливость, с которою выбирались жильцы из дома. Паук развесил свои победные знамена по стенам, медные задвижки дверей зацвели зеленью, сами двери едва держались на перержавленных петлях, и когда я тронул одни, они упали с треском на пол. Гул пошел по пустым комнатам, густое облако пыли взвилось, и я сквозь него вступил в залу. Летучие мыши, эти бабочки развалин, треща перепончатыми крыльями, слетелись на огонь и кругами реяли мимо глаз. Разрушение много выиграло с тех пор, как я в первый раз видел эту залу. Карнизы обвалились, и часть их лежала на столах, словно объедки от пиршества зубастого времени. Обои висели длинными лоскутьями. Занавесы окон под густым слоем пыли источены были молью. Дождевые потоки навели еще мрачнейшую краску на стены, и на них несколько портретов проглядывали сквозь копоть, будто сквозь туман забвения. Полон воспоминаний младенчества, полон думою о несчастной судьбе моей родственницы, которая жила, любила, умерла здесь, пробежал я ряд комнат, покинутых людьми, которые одни могут бороться со временем и оставили ему победу без боя. В каждом трепетании обоев мне слышался стон умирающей жертвы, одинокой посреди холодных стен и еще холоднейших стражей, в разлуке с милым супругом. И ни одно дружеское приветствие, никакое родственное утешение не радовали последней тоски ее!! Напротив, она видела подле себя Коршуновы очи, которые с жадною радостью ждали ее кончины, она знала, что мучения ее останутся никому не известны; что, испытав по сю сторону гроба злость, по ту сторону предана будет клевете; что она, измученная, очерненная, погребенная заживо, сойдет в землю не оплакана, не оправдана никем и ни перед кем, – ужасно! «Лиза! – вскричал я, – несчастная Лиза! Я защитник твоей чести!» Мой голос пробудил эхо пустых комнат, и стекла, дребезжа, дали унылый аккорд! В это время послышалось мне, будто кто-то ходит в соседней комнате... Шаги эти были тихи, легки, можно сказать воздушны; меня облило холодом, волосы стали дыбом... Прислушиваюсь – ни звука. Мало-помалу я ободрился и поднял вверх светоч свой, чтобы осмотреться, – я стоял в длинном коридоре, в конце которого виделась белая резная дверь, убитая, как видно после, железными полосами. Сверху привинчены были тяжелые задвижки, но они не были задвинуты. Мне вспало на ум: не здесь ли вытерпела дочь строптивного князя ужасную пытку? Любопытство разгорелось. Я приблизился к этим дверям, тихо взялся за скобу и дернул ее к себе... Дверь растворилась.

Друг мой! ты знаешь, робок ли я под свистом картечей, ты знаешь, бледнел ли я перед пикой, устремленной мне в сердце, по ты не знаешь, как упало это сердце, когда взглянул я в тюрьму Лизы... Казалось, ледяная гора задавила меня, казалось, сам я в одно мгновение превращен был в кусок льда... Нет, это был не сон, не мечта, не обман очей, не игра

приготовленного воображения, – я тысячу раз видел портрет Лизы, висевший в спальне у моей матери, он был врезан в моей памяти, – и вдруг наяву, без всяких сомнений наяву; передо мною!..

Я слушал Зарницкого с большим вниманием; когда он был разгорячен или одушевлен, то рассказывал увлекательно. Не слова, не речи, а голос этих речей, а чувство, волнуемое этот голос, переливали участие в грудь каждого. В ту минуту, когда он произнес: «передо мною»... послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы оба так настроены были к чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и обратили глаза на дверь с каким-то робким ожиданием. Когда глаза наши встретились, мы оба усмехнулись, будто признаваясь: какие мы дети! Та улыбка, однако ж, была мгновенная. Мочная рука, которая не удостоивала, казалось, отвернуть ручку дверную, сорвала весь замок, и к нам вошел высокого роста латник, завернутый в широкую, теплую шинель. Палаш его, волочась, брэнчал, каска была изрублена, и часть гребня висела над глазами. Он не поклонился нам, не молвил слова и прямо сел к огню – мы узнали в нем кирасирского майора, которому одолжены были победою. По закону военной учтивости и долгу службы, я, как старшему, отрапортовал ему о состоянии отряда и, наконец, от чистого сердца протянул ему руку с дружеским благодарением, с солдатским приветствием, говоря, что нам лестно будет иметь товарищем человека, которому обязаны блистательным успехом. Но латник встал, и приложил руку к козырьку машинально, и снова сел, будто ничего не видя и не слыша. Бледно было его лицо; глаза мутны, неподвижны. По трепетанию черных длинных его усов видно было порой судорожное движение губ... Брови сдвинуты угрюмо.

Пробитая картечью и пулями его шинель залита была кровью, и каждый раз, когда он наклонялся, поправляя огонь, палаш его падал на дол, звуча, и цепки, связывающие кирас, брякали о железный нагрудник. Мы говорили между собой шепотом, изумленные странным появлением и еще больше странным обхождением латника. Кто он? что он? зачем он здесь? Мы напрасно заводили с ним речь, напрасно потчевали чаем: он склонением головы или движением руки прерывал все вопросы и предложения. Мы оставили его самому себе.

Опершись об руку, упертую в колено, он, казалось, глубже и глубже тонул в море минувшего, – он вздыхал тяжело, так тяжело, что у нас вчуже вздувалось сердце. Иногда слезы катились по его лицу. Он с какою-то завистью смотрел на пыльные уголья, которые меркли, угасали, распадались в пепел, будто он в них видел свое подобие. Потом вдруг, сложив руки на стальной груди своей, он опрокидывался назад и шептал невнятные слова... грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва, – он был страшен.

Мы вздремали; казалось, вздремал и он; только по временам вздрагивал и стонал. Вдруг пробуждены мы были стуком его палаша, – он с ужасом смотрел на руку свою: на нее упало несколько капель растаявшей на шинели крови... Глаза его стояли, густые кудри бросали тень на белое как саван лицо, губы были открыты, – весь он был идеал ужасно-прекрасного!

– Зачем ты пробудила меня, кровь злодейская! – роптал он, – неужели мне один сон – могила, неужели ни прежде, ни после мести нет покоя!!

Он вскочил, схватил горящее полено вместо факела и под влиянием сомнамбулизма сделал несколько шагов вокруг комнаты.

– Здесь, так, здесь видел я ее впервые! – произнес он тронутым голосом и с горькою улыбкою, но в этой улыбке отражались все муки души. – Она сидела у этого окна; мрачны стали эти стены; они подернулись как гробовым сукном... а было время, они склонялись надо мной, как брачный полог, как цветная занавеса будущего. Здесь дал я, здесь услышал я первую клятву в верности... Клятву? Они пишутся на воде и утекают с нею!! Но мою клятву я бы готов был запечатать своею кровью, и только кровь могла смыть ее... Она смыта! –

прибавил он злобно и потом тихо, озираясь, пошел далее – в другую, в третью комнату. Наконец мы вышли в залу, в которой была самая горячая схватка; стены были исстрелены русскими пулями, окна разломаны, несколько десятков обезображенных трупов валялись друг на друге, по полу, залитому кровью, – картина была отвратительна, не только ужасна. Латник наш, достойный гость между мертвецами, с пылающим деревом в руке, в каске и в латах своих походил на привидение какого-нибудь рыцаря веков минувших, – исполинская тень его мелькала по стенам и кралась следом.

Мы стояли в тени, неподалеку.

Стены были увешаны портретами фамильными, – это общий обычай в Польше. Латник прямо кинулся к одному из них как знакомый и рассматривал его с диким наслаждением. Это было в самом деле прелестное лицо какой-то девушки. Озаренная неверным светом, она мелькала сквозь мрак, будто неслась ангелом мира.

– И ты, сердце моего сердца! ты, которая одушевляла для меня жизнь и свет, и тебя не стало! – произнес латник, глубоко тронутый. – Земля взяла свое – черви насладились твоими прелестиями... Черви? Нет, змея отравила тебя заживо, Фелиция. Свидетель бог, ты одна могла удержать руку, готовую раздавить эту гадину, я отсрочил месть, но отказаться от нее не мог я, как от любви своей, – месть мне осталась единственной любовью после тебя, единственной отрадой; только жажда ее могла приковать меня к колесу пытки!! Не смотри так грозно на меня, Фелиция, – я дал себе страшную клятву уничтожить изверга, а ты ведаешь, изменял ли я клятвам в добром и злом... Она свершилась!! И ты сдержала обет свой, милая тень, ты обещала мне явиться в ночь передсмертную, вестница радости... Ты явилась мне, не убегай, не улетай от меня, скажи мне, буду ли я твоим супругом в царстве смерти? Любят ли там? Я не хочу рая, когда в нем не найду тебя!!

Он кинулся навстречу милому призраку в порыве горячки своей – и запнулся за убитого француза... Внезапный ужас поразил его. Он наклонился, поднес головню к посинелому лицу мертвеца – и черты его вспыхнули гневом...

– Ты и здесь заграждаешь мне дорогу на небо... Прочь, змея! Прочь, говорю я! – вскричал он. – Как ожил ты из-под моих ударов? Зачем пришел ты умереть сюда? Неужели и ад не принимает злодея?... В этот раз по крайней мере ты не уйдешь от меня... в этот раз ты не избежнешь заслуженного ада, который вызвал на свет!

Пена била у него клубом, лицо горело кровью, – он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь, так, что у него затрещали кости, и, подняв обеими руками клинок, вонзил его в давно оледенелое сердце и дважды повернул в рапе...

– Он еще живет, еще дышит! – повторял он, прислушиваясь, – еще оставшая кровь, как червь, ползет в жилах его!..

Он снова взмахнул палашом, но исступление истощило все его силы – он рухнул на пол бесчувствен, бездыханен.

Кликнув гусаров, мы перенесли его в прежнюю комнату, сняли с него латы и положили на плащах. Приводя его разными средствами в чувство, мы успели возвратить ему дыхание, но не память. Только по временам пробегал по всем членам его трепет, только холодный пот проступал на теле и закрытые веки дрожали судорожно. Он тихо стонал, произнося невнятные слова, – мы оставили его успокоиться. Встреча с латником совершенно отбила у нас сон. Мы потихоньку рассуждали, до какой степени несчастная любовь делает неистовым человека, одаренного, или, лучше сказать, наказанного, пылками страстями. Очевидно было, что он жених Фелиции и враг грабе Остроленского, что он преследовал и изрубил его.

– Однако ты, брат, не закончил своего рассказа, – напомнил я поручику.

– Он будет краток, – отвечал поручик со вздохом. – Слушай. Мы были прерваны на том месте, когда я отворил двери старинной темницы Лизы. Гляжу – в комнате этой горит свеча, под окном, забитым решеткою, стол; в углу простая кровать и на ней – вообрази мое удивление! – женщина в белом платье – и кто же? Лиза! Я говорил тебе, что кровь замерзла в моих жилах, но это не выражает ужаса, который я тогда ощутил. Казалось, тысяча ледяных иголок пронзили меня с головы до ног, холодный пот застыл на сердце, и если я тогда не упал, то обязан этим одному оцепенению... Это был задаток разрушения в час смертный.

Но все, что имеет начало, должно иметь конец. Рассудок проговорил, сердце оттаяло, и я с недоумением и страхом протирал глаза, чтоб увериться, не греза ли это; нет! белое привидение недвижимо лежало передо мной, будто в глубокой тоске, в непробудимой задумчивости. Прелестное, но бледное лицо было полузакрыто светло-русыми локонами. Я долго смотрел на это явление, колеблем между истиной и заблуждением, ступил шаг – незнакомка подняла глаза, и тут уж я убедился, что столько жизни не могло сосредоточиться в мертвецке... Я прервал безмолвие, я сказал ей, кто и почему я здесь... Теперь угадай, кто была она и как туда попала?

– Не могу придумать, – отвечал я.

– И я не вдруг узнал это. Милая девушка умоляла меня никому не открывать о встрече с нею. Напрасная просьба! Я сам бы готов был схоронить от целого света такое сокровище. Нужно ли сказывать, что через полчаса, проведенного с нею, я уж был влюблен по уши? Чудесность, таинственность всего ее быта бросили искру в сердце, а ее невинность, ее светлый ум раздули пожар. Я выпросил у нее позволение увидеть ее еще раз и еще раз, но в замену дал слово делать это с большими предосторожностями. Через три дня я уже опять спрыгнул у крыльца управителя Шурана.

«Дома ли?»

«Дома-с, очень рад».

Управитель встретил меня двусмысленною улыбкою.

«Не прикажете ли подать топор и свеч, Григорий Иванович?» – сказал он мне.

«Зачем это?» – возразил я, смутившись.

«Для ночного путешествия в опальный дом, – отвечал он. – Григорий Иванович, я все знаю. Вас ждут, и ждут с нетерпением; только позвольте, чтоб в этот раз я был проводником вашим».

Он пошел вперед, не ожидая ответа, а я так смущен был неожиданным этим приветствием, что шел сзади его, как на своре.

Когда приблизились мы к роковой двери, сердце у меня вспрыгалось, будто заяц под ружьем стрелка... Незнакомка встретила нас еще прелестнее, чем прежде... Я таял, на нее глядя, самолюбие мое лакомилось пылким румянцем красавицы.

«Григорий Иванович! – сказал управитель, – прошу любить и жаловать тетку вашу... Вы видите дочь Елисаветы Андреевны, Елисавету Павловну Баянову!» Я отступил от изумления три шага назад... Мысли и чувства так были превращены этим неожиданным, непонятным объяснением, что я стоял долго, растворив рот, как будто бы я глотал чужие слова, вместо того чтоб произносить их самому.

Управитель продолжал: «Брак г-на Баянова с родственницей вашей княжной X-ой совершен был неразрывно. Его утаили, но уничтожить не могли. Девушка, которую изволите видеть

перед собою, родилась во время заключения Елисаветы Андреевны и названа была ее именем. Покойник князь имел свои причины скрыть новорожденную и поручил мне отдать ее на воспитание в какую-нибудь дальнюю деревню. Мне стало жаль малютки, я свез ее к брату своему, бедному помещику в Вятской губернии: он был бездетен и принял покинутую как небесный гостинец. Выкормил, воспитал ее, как видите. Никто не знал о том ни крошки: все дело шло самым тайным образом. Кого вязали свои дела, кого княжие деньги или угрозы. Умер и князь, да остались его наследники; заводить с ними тяжбу пугало и меня, несмотря на упреки совести: я и сам был в этом деле виноватый, хоть невольный. Месяц перед сим потерял я брата, а Елисавета Павловна – своего воспитателя... Неделю назад приехала она сюда. Я крепко плакал по добром брате своем и не утешился бы, если б не было со мной этого ангела. Между тем (между нами будь сказано) любезная Елисавета Павловна начиталась всякой всячины: то и дело просится посмотреть того места, где жила и скончалась ее матушка. Как отказать!! На беду эта комната ей до того полюбилась, что не вызовешь. Днем ходить сюда – пошли бы разные толки, а нам надо было молчать о ее роде до поры до времени. Вот она и стала плакать здесь по матери ночью. Не осердитесь, любезнейший Григорий Иванович, что, заступаясь за правду и за правую душу, я выхлопотал все законные свидетельства для иска наследства Елисаветы Павловны; может, придет и вам поплатиться, – да ей главное – дорога материнская слава и свое доброе имя, которых иначе нельзя выправить, как перед зеркалом. Что перед вами таиться? Елисавета Павловна нашла себе по сердцу суженого, и это всего больше заставило меня поспешить развязкою. Ваше неожиданное посещение крепко встревожило мою гостью. Я с своей стороны счел за лучшее сказать вам все откровенно. Я знаю вашу благородную душу!»

«И не ошиблись в ней! – вскричал я, обнимая почтенного, простодушного старика. – И не ошиблись!..»

По праву родства я обнял милую свою родственницу, – но чего бы я не дал, чтобы обнять ее, не слышав вестей, что она родня моя, что она невеста другого!!

Мои мечты, мои надежды рассыпались, но любовь осталась в сердце. Я избегал всех случаев видеть ее, но ее образ был всегда перед глазами... Тому уже прошло пять лет, друг мой, но я не могу вспомнить о моей Лизе без вздоха, – она была для меня настоящим призраком счастья!

Я сделал все, что мог, для ее счастья – уговорил матушку уступить ей свою часть имения, от князя X – го доставшегося, хлопотал по судам, чтобы признали ее истинною дочерью Баянова, и успел в этом. Денежный иск другое дело: он до сих пор тянется с сыновьями, князьями X – ми. Впрочем, Лиза вышла замуж за того, кого любила, который любил ее, который ее любит... Она пишет, что живет безбедно и счастливо!.. А я?..

Поручик закрыл лицо, но не слезы свои руками... Грудь его стояла надувшись, но он не вздыхал... он не мог вздохнуть!..

Сердце мое сжалось... горячие капли пробились сквозь ресницы. Мы оба молча склонили свои головы в плащи.

Так заснул я.

С вечера я отдал приказ быть готовыми к выступлению к четырем часам утра. Рокот трубы пробудил нас.

Трудно, несмотря ни на какую привычку, спросонков слышать без содрогания звуки трубные: они имеют в себе что-то ужасающее, что-то зловещее, что-то пронзающее сердце. Кажется, призыв их выговаривает слова: на брань, на брань, на суд, на суд! Первым нашим движением было кинуться к больному кирасиру, – он спал еще крепким сном; лицо его было посвежее, хоть все еще бледно. Наконец перекаты трубы проникли и до его души, – он встрепенулся,

поднялся на руку и с каким-то недоумением озирался кругом, припоминая, что было, где и как он теперь. Неужто он еще жив? – было первым его вопросом.

– Успокойтесь, майор, – сказал я, – если вы спрашиваете про кого-нибудь из неприятелей, то они все легли на месте.

Он долго смотрел на меня, будто взвешивая слова мои, будто вглядываясь не только в мое лицо, но и в душу.

Наконец он дружески протянул ко мне руку и крепко сжал ее.

– Я помню вас, я знаю вас, – сказал он, – коротко было мое знакомство с вами, дружество будет еще короче; зато одно и другое полно. Теперь я будто сквозь сон вспоминаю, что со мной случилось вчера. Господа! я чувствую, что странность моих поступков должна была изумить вас... Я бы желал, в свою очередь, в извинение себе молвить словцо-другое о том, что привело меня к этому безумию, да боюсь, чтоб не задержать похода.

Я отвечал, что мои разъезды не возвратились еще из окрестностей, и потому с час места будет досугу поговорить и послушать за стаканом чаю.

– Если так, господа, – возразил майор, – я вкратке расскажу вам свою печальную повесть. Не многие часы даны мне на белом свете, я считаю поэтому долгом открыть добрым товарищам сердце; может быть, вы повстречаете родных моих и передадите им мою последнюю исповедь. Как ни тяжело вызывать мне прошлое из могилы сердца, но я вызову его, как тень Саула[21], чтобы услышать от ней неизбежное пророчество гибели. Послушайте.

Здесь, в этом самом замке, стоял я с артиллерийскою ротою, которою командовал. Я любил дочь хозяина, я был любим, я был женихом ее. Перед самой свадьбой больная мать моя захотела непременно видеть меня для благословения. Я поскакал и, застав добрую матушку на смертной постеле, не отходил от нее в течение трех недель. На столике, установленном лекарствами, писал я невесте много и часто, лаская ее, обманывая себя надеждою скорого выздоровления любимой, уважаемой матери, скорого свидания с обожаемою, с нею. Бог судил иначе: матушка моя скончалась.

Бессонница, огорчение, тоска сломили меня: я схватил жестокою нервическую горячку. В бреду, в беспамятстве, наконец в летаргическом расслаблении пробыл я почти два месяца. В беспамятстве, сказал я? Нет, то было лишь отсутствие разума, отсутствие внешних чувств; но память о разлуке, о потере свинцовой горой лежала на сердце. Немая, но тяжкая, неопределенная боль тяготела надо мной, подавляла вместе душу и тело, тлела, не вспыхивая и не уменьшаясь. Я не ощущал хода часов, но чувствовал долготу времени; оно тянулось, длилось бесконечно. Нить этого отчаянного положения прервалась вдруг, я очнулся.

Все радостное и все горестное слетелось в душу с первым лучом света, проникшим в нее, – они кинулись на нее будто хищные птицы, давно голодные!! Первым моим желанием было узнать, есть ли письма от Фелиции. Все молчали; то было молчание смерти для всех надежд моих. Новый продолжительный обморочный облив меня своим холодом, он поразил только что распускающуюся почку сил. Слабость моя была чрезвычайна, беспамятство часто, выздоровление медленно. Восемь месяцев протекли с тех пор, как я разлучился с Фелициею, и вот я стал на ноги. Боже мой, боже мой! для чего ты отдал мне жизнь, не отдав счастья! Тогда узнал я то, чего не смел подозревать, чему бы никогда не поверил! Фелиция вышла замуж за одного из дальних своих родственников! С первого раза я считал ее мертвою, ибо жить и не писать ко мне были две мысли, которых не мог я связать вместе... Я уже свыкся с этою мыслию, как люди привыкают к яду. Она была горестна, но не обидна для меня... Можете судить, каково было мое бешенство, когда я узнал неверность Фелиции!

Выброшенный взрывом гнева из круга обыкновенных страстей, я не знал никакой узды, никаких границ. Казалось, адская сила стремилась меня, как ядро, на разрушение чужое и собственное. Огонь тек в моих жилах; сера кипела в груди. Я был глух на советы и увещания совести: я решился убить Фелицию! Что вы так страшно глядите на меня, господа? Постигаете ли вы чувство нетерпимости раздела в любви? Можете ли вы вообразить, можете ли понять, оправдать, по крайней мере извинить человека, который скорее убьет своего соперника, чем уступит ему любовницу, скорее пронзит сам ее сердце, чем позволит ему биться на груди другого? Если вы не имели о том мысли, если не слыхали тому примеров, то перед вами стоит тот, кто готов был произвести это в действие, кто лелеял месть за любовь, как прежде самую любовь, – месть, это страшное наследство страстей необузданных. Воля, которую не умели переломить во мне с младенчества, разбила мое сердце, да я не ищу извинений. Бог, перед которого скоро предстану, рассудит, прав ли я, виноват ли я... Чему было должно свершиться, свершилось. Каждый миг замедления был мне нестерпим; я спал и видел кровь. Я жаждал увидеть изменницу еще однажды и в последний раз; этот раз должен быть последним часом в ее жизни. Я просился и был переведен в кирасирский полк, стоявший недалеко отсюда. Я сделал это потому, что рота моя во время моей болезни перешла в Россию. Полный кровавых замыслов, я полетел на роковое свидание.

Приближаясь к замку, я с зверскою радостью воображал себе ее изумление, ее смущение передо мною, я предугадывал ее извинения, ее стыд при моих укорах, я наслаждался заранее ее ужасом при блеске лезвия, – решимость моя была непреклонна.

Однако чем ближе сюда, тем мягче и мягче становился гнев мой. Душевная боль опала, кроткие воспоминания прошлого счастья овладели мною против воли. Глухая осень оборвала уже листья с деревьев сада, зато каждое из них одето было для меня сладкою поминкою. Я без мысли, без цели перепрыгнул на коне через рогатку садовую и наудачу тихим шагом объезжал все дорожки, знакомые глазу и милые сердцу; все было мрачно, и печально, и пусто, как в груди моей; павший лист хрустел под ногами, и ветер звучал, как в струны, в замерзлые сучья; грустна была песня его, но она лилась как масло на сердце. Осенняя заря разливала свои розовые сумерки будто на прощанье; она хотела разъяснить улыбкою целый день угрюмое небо. И вдруг совсем неожиданно наехал я на сидящую под деревом Фелицию. Не умею, не смею выразить, что тогда случилось, когда я взглянул на нее!! Я ожидал ее найти в полном расцвете прелестей, с гордым самодовольствием в глазах, близ ласкающегося к ней мужа или в толпе поклонников... И где ж и как нашел я ее? Сердце мое облилось кровью: она была худа и одинока! Все, что могут страдания душевные и болезни телесные, написано было на ее бледном лице. Одна прелесть еще сияла на нем – прелесть невинности. Слезы покатались из глаз ее, – они растопили мое сердце. Все подозрения, все сомнения, вся уверенность моя рассыпались при первом ее взгляде, – я упал, рыдая, к ногам ее...

Это свидание не было последним. Я вымолил у Фелиции позволение видать ее в замке по пятницам, дни, в которые граф уезжал обыкновенно в гости. Живучи вблизи, я узнал все адские хитрости, которыми намостил он себе дорогу к супружеству. Перехватывание писем, ложные вести, коварство под личиною участия – все было там на мою беду. Этого мало. Ему нужна была Фелиция для золота; она стала лишняя, когда он получил его. Злодейская холодность, ядовитые упреки, презрение ко всему, что достойно уважения в женщине, в супруге; все огорчения, какие только злоба может выдумать и бесчувственная подлость исполнить, отравили ее жизнь, уничтожили здоровье. Она чахла, она разрушалась в глазах моих, – я видел, я чувствовал это и перенес это; меня подкрепляла надежда, жажда мести. Я поклялся прахом отца и тенью матери, поклялся всеми страшными и священными клятвами для человека отомстить злодею неумолимо. Но я не хотел смешивать с кровью последних минут Фелиции; я молчал о моем намерении. Звезда души моей гасла чиста и невинна!.. Так.

Когда в последний раз видел Фелицию, она предчувствовала свою кончину, и я не мог ее не предвидеть. Не знаю, с чем сравнить жестокою известность, которая близилась... Я был вне себя... В безумии умолял я ее, если не суждено нам еще однажды видеться здесь, чтобы

хоть тень ее явилась мне перед тем днем, в который кончатся мои земные бури и страдания.

«Это будет рассветом моего будущего, блаженства... – говорил я. – Дай мне на этой земле вкусить небесную радость!»

«О, если б это было в моей власти, – отвечала она, – я бы слетела, как луч, вестником соединения!»

«Кто любит, тот верит, – возражал я, – и почему бог не исполнит невинного желания людей, рожденных друг для друга и только страдавших друг за друга!»

Она с улыбкою пожала мне руку. «Последняя молитва моя к богу будет об этом, – сказала она, – но последняя просьба моя к тебе – не мсти за меня графу!» Она не могла кончить речи и лишилась чувств, и я должен был оставить ее в таком положении!.. Легче, во сто раз легче было бы мне расставаться с душою, чем тогда с любезною! Она умерла, и я не закрыл ей очи!.. И кто лишил меня этого горестного утешения, кто, если не Остроленский? Последний завет, последняя воля ее была прощение, – но мог ли я простить ему!!

Судьба противостала и злобным и мирным моим желаниям; вскоре после похорон Фелиции она оторвала меня даже от тех мест, где бы я мог выплакать душу, как цветок намогильный. Я был послан ремонтером на всю дивизию внутрь Малороссии и, воротясь через два года в полк, узнал, что грабе Остроленский, обвиненный уголовно за жестокость с крестьянами, бежал во Францию и вступил там в службу Наполеона.

Радостен был я, когда загорелась нынешняя война. Мысль кончить по крайней мере со славою жизнь без счастья утешала меня. Мечь врагам, разорителям отечества, меня одушевляла, но и собственная, сердечная мечь меня не покидала ни в походах, ни в сражениях. Приближаясь ныне к местам, столь для меня памятным, она заговорила в душе громче, нежели когда-нибудь. Я сыпал золото, рассылая жидов проведать, не здесь ли граф Остроленский. Вчерась один из кровопродавцев воротился с вестью, что граф точно здесь и возмущает околоток к отпору. Я выпросился у генерала примкнуть к вашему отряду и поскакал вслед за вами с одним ординарцем. Остальное вы знаете, кроме заключения!..

Тут латник остановился, глаза его снова засверкали гневом, и кровь пятнами вступила в лицо...

– Я увидел в схватке бегущего графа, – продолжал он, – я следил, я достиг его далеко от замка. Конь его, застреленный мною, пал и придавил собою злодея. Палаш мой сверкнул над его головою. О! как сладки были для слуха моего мольбы врага о пощаде! Подлец! Он не умел и умереть благородно; он не выкупил ни одною минутою твердости черной своей жизни. Как унижительно выпрашивал он, будто милостыни, чтоб я дал ему время раскаяться! Нет, злодей! я не дам тебе раскаяться! Ты превратил в ад мое небо – ступай же сам в вечный ад! Я мог бы простить свою собственную, кровную обиду; но тысячи обид, нанесенных существу драгоценнейшему для меня всего на свете, с которым ты разлучил меня, – этого не мог и не должен был я простить. Это было выше души моей, – я с ожесточением вонзил ему в грудь свой клинок.

– Спрашивай о том у господина майора, – сказал я, указывая на латника.

Он вскочил.

– У меня одно приказание для вашего отряда, господин ротмистр, – отвечал он, – одна просьба до вас самих – велите зажечь замок со всех сторон: хочу, чтоб и самая память Остроленского погибла под пеплом!

Я склонил голову в знак согласия; скоро зазвучала труба. Мы едва успели сесть на коней, как

замок вспыхнул столбом. Латник долго ехал, оборотись назад, будто любовался пожаром; но когда лес заслонил нас даже и от дымного облака, он впал в глубокую думу; мы не хотели докучать ему нескромным участием и ехали тихо, безмолвно.

Вдруг мой латник будто проснулся от сна.

– Господа! – произнес он, – прошу вас, как товарищей, отошлите этот кошелек в мой эскадрон. Пускай поминают меня мои добрые кирасиры! Отправьте также эти бумаги к брату моему (он назначил адрес), они будут ему весьма нужны... Наконец простите меня сами – не осуждайте память мою; сегодня, непременно сегодня я буду убит! Тень Фелиции посетила меня в прошлую ночь!

Мы изумились, слыша, с каким уверением говорил человек воспитанный о предчувствиях, о явлениях по смерти.

Впрочем, мы очень осторожно старались разуверить его.

– Вы видели портрет Фелиции, майор, а сон мог продлить заблуждение. Кровь ваша была вчерась так взволнована, так воспалена! – сказал я.

Латник горько улыбнулся.

– Господа! – отвечал он, – может быть, я не могу так же красно, как вы, толковать о лживости предчувствий, о невозможности сообщения живых с умершими... но я верил этому так жадно, так долго, эта вера была моею отрадою, какой-то голос в душе говорит мне, что я не обманут. Отечеству посвятил я жизнь мою, но умереть хочу для себя! За границею этого мира ожидает меня Фелиция!!

Более не молвил он ни слова.

Под вечер вышли мы на Виленскую дорогу и соединились с главным отрядом славного нашего Сеславина; к ночи налетели мы на Ошмяны, – там был сам Наполеон.[22]

Несмотря на превосходство французов в силах, мы ударили в них как гром. Сам начальник наш с ахтырцами врубился в середину города, мы ворвались туда со всех сторон; крик, тревога, пальба, сабли и штыки в работе, но темнота, подарившая нас победою, укрыла Наполеона от поисков наших. Если б мы знали место ночлега, Ошмяны бы были геркулесовскими столбами его поприща.[23]

Но, видно, судьба судила иначе: он ускакал.

Назавтра, на рассвете, я с поручиком Зарницким выступал из Ошмян в арьергарде нашего летучего, отряда. На улицах лежали еще трупы убитых; многие дома дымились после пожара... живые прятались по углам. Мы тянулись через площадь, на которой французы держались упорнее прочих мест. Тела лежали на телах, ободранные, обезображенные. Вдруг Зарницкий осадил коня, спрыгнул с него и припал к какому-то трупу...

– Боже мой! – сказал он. – Посмотри, Жорж, это наш латник!

В самом деле то был он, и обнажен весь; кирас его брошен был недалеко в грязи, но каска на голове и палаш в стиснутой руке остались. За оружием никто не гнался. На теле его видны были несколько ран пулями и штыками. Выражение лица его сохранило еще гордость и угрозу, но на нем не виделось ни следа страстей, обуревавших его молодость, оно было светло и спокойно.

– Дай бог! – прибавил Зарницкий. – Чудный человек! ты задал мне чудную загадку. В самом ли деле тень Фелиции была вестницей твоей смерти, или вера в заблуждение заставила

найти ее?

– Не пройдет, может статься, трех часов – и французская пуля разрешит кому-нибудь из нас эту тайну, – возразил я.

Задумавшись, стояли мы над телом убитого товарища... Эскадрон прошел... Звук трубы вызвал нас из забвения.

Мы вспрыгнули на коней и молча поскакали вперед.

Примечания

1

Латник. Рассказ партизанского офицера. Впервые – в «Сыне отечества», 1832 год, №№ 1, 2, 3, 4, за подписью: А. М.. с пометкой: Дагестан, 1831.

2

Сеславин А. Н. (1780—1858) – генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 г.; первым заметил отступление французских войск и сообщил об этом М. И. Кутузову.

3

Местечко Ошмяны – расположено на берегу р. Ошмяны (бассейн Немана), по бывшей Виленской дороге.

4

Аудиторы – чиновники, исполнявшие при военных судах должность следователя, прокурора и секретаря, а во время походов заведовавшие обозом, квартирмейстеры.

5

...разрешать гордиевы узлы по-александровски. – По преданию, Гордий, родоначальник

одной из фригийских династий, привязал узлом ярмо к дышлу колесницы, подаренной им в храм Зевса. Оракул предсказывал, что тот, кто развяжет узел, будет владеть Азией. Александр Македонский разрубил узел мечом.

6

Флигельман (нем.) – фланговый солдат.

7

Ну, смелее, ребята, – огрызайтесь, смыкайте ряды, стой! Сбейте спесь с этих бездельников: это воспаляет сердце; стреляйте, стреляйте, говорю я вам... огонь! (фр.)

8

Огонь! (фр.)

9

Саква (сак) – холщовая переметная сума на седло для овса или сухарей.

10

...заговоренная кожа Ахиллеса. – Тело Ахиллеса, одного из храбрейших древнегреческих героев, было неуязвимо, кроме пятки, за которую держала его мать, богиня Фетида, купая ребенка в волшебном ручье. В Троянской войне он и был смертельно ранен в пятку стрелой Париса.

11

Платов Матвей Иванович (1751—1818) – герой Отечественной войны 1812 г.. атаман донского казачьего войска.

12

...в получении Анны на шпагу! – Голштинский орден св. Анны, учрежденный в 1735 г. с 1797 г. вошел в состав русских орденов.

13

Кто не помнит этого слуха во время Отечественной войны? Это была выдумка, но выдумка, характеризующая дух народный; она объяла всю Европу. Я видел английскую картину, изображающую прекрасную казачку, с надписью: «Miss Platoff», и внизу: «I join my heart to my father's will», то есть предаю сердце к воле отеческой, (Примеч. автора.)

14

Тамбурмажор – старший над музыкантами в полку.

15

..у него на лице написано число 666... – Число 666 – «звериное число» в Апокалипсисе (одной из книг Нового завета), под видом которого якобы скрыто имя антихриста. Церковники утверждали, что Наполеон I – «апокалипсический зверь» (антихрист), находя в численном значении еврейского начертания его имени число 666.

16

Капитан, полковник, генерал (фр.)

17

...грабе... (грабий, польск.) – граф.

18

Кляштор (польск.) – монастырь.

19

Демосфен (384—322 гг. до н. э.) – древнегреческий оратор и политический деятель.

20

Шуран – поместье на Каме, принадлежавшее помещику П. А. Нармацкому, отличавшемуся, по народному преданию, использованному А. Марлинским, жестоким и буйным характером. Как сообщает П. Н. Суворов в «Записках о прошлом» (М., 1899, ч. I), в подземельях этого замка погибло много жертв его владельца.

21

...как тень Саула. – По библейской легенде, Саул, иудейский царь (XI в. до н. э.), пришел к власти с помощью пророка Самуила, но затем стал действовать самовластно и мстительно. Перед битвой с филистимлянами Саулу явилось видение умершего Самуила и предрекло Саулу гибель в этом сражении (Первая книга царств, гл. 28). У Марлинского: сам Саул, напоминание о нем (его тень) – символ рока, гибели.

22

...там был сам Наполеон. – Наполеон, тайно покинув свою армию в декабре 1812 г. в местечке Сморгонь, близ Ошмян, передал командование Мюрату.

23

...были, геркулесовскими столбами его поприща. – Геркулесовы столбы – древнее название Гибралтарского пролива, за которым, по мнению древних народов, находился конец Земли. Здесь: конец какого-либо дела.